

Болеслав Михайлович Маркевич

Лесник



Болеслав Михайлович Маркевич

Лесник

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22136985

Аннотация

«После трехгодичного отсутствия, весной 1873 года, Валентин Алексеевич Коверзнев приехал в Черниговское имение свое, Темный Кут. Валентину Алексеевичу было в ту пору 36 лет; он был богат, здоров и независим, как птица в небе, – если только допустить, что человек вообще, и русский в особенности, способен быть независимым в этой мере.....»

Содержание

I	4
II	8
III	17
IV	24
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Болеслав Маркевич

Лесник

(Княгине Софии Михайловне Голицыной).

I

После трехгодичного отсутствия, весной 1873 года, Валентин Алексеевич Коверзнев приехал в Черниговское имение свое, Темный Кут.

Валентину Алексеевичу было в ту пору 36 лет; он был богат, здоров и независим, как птица в небе, – если только допустить, что человек вообще, и русский в особенности, способен быть независимым в этой мере...

Во всяком случае, условия жизни его и воспитания и его личные свойства весьма способствовали этой независимости, – составлявшей (он любил это говорить иногда,) «и задачу, и сущность его существования».

Он был внук по матери одного из известных Екатерининских любимцев, жалованного огромными поместьями на юге России; детство Коверзнева – его воспитывал безо всякого вмешательства и контроля со стороны его родных, прямой, жесткий и отважный характером англичанин mister Joshua Fox, – протекло частью за границей, в Швейцарии или Риме,

частью в России, в Москве, в Екатеринославском имении, или в Темном Куте, в безбрежных лесах которого пропадал он на целые дни со своим наставником, страстным любителем охоты. На семнадцатом году он поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет.

Он кончил там курс, когда, почти одновременно, лишился отца своего и матери. Двадцати лет от роду он остался один, во главе состояния тысяч во сто доходу.

Эта пора его первой молодости совпала со временем небывалого до тех дней возбуждения русского общества. Как птицы на заре светлого дня, встрепенулись в те дни сердца, закипела мысль, загремели хоры молодых звонких, часто нестройных, почти всегда искренних в своем увлечении, голосов.

Коверзнев остался как бы в стороне от этого возбуждения. Строже говоря, оно затронуло его не с той стороны, с которой отзывалось на него большинство его однолетков... Недаром воспитан он был англичанином, – чистокровным англичанином-реалистом. Ему претило все, что отзывалось, или казалось ему «фразою», – «абстрактном и сентиментальной теориею», как выражался он. Он искренно был рад, что наследованные им пять или шесть тысяч душ крестьян перестают быть его крепостными, – он даже отвел им надельные с неожиданною для них щедростью, – но «гражданское воспитание» этого освобожденного народа, – о чем так много горячих толков и юношеского гама было в те времена, – ни-

сколько не озабочивало его. «Им все дано, чтобы сделаться *людьми*; хотят – будут, а не хотят – их дело, с какою-то напускною, не русскою холодностью говорил воспитанник мистера Фокса. Во всем этом великом деле обновления России для него важнее всего было то, что сам он, Валентин Коверзнев, „переставал быть крепостным“, что прежние путы традиций, обычая, „условных обязанностей“, связывавшие до тех пор людей „его положения“, распались теперь сами собой, силою всех этих „либеральных“ реформ, что никто теперь не станет принуждать его сделаться конно-гвардейцем и камер-юнкером, не „запряжет его в службу“. Это понятие *службы* Коверзнев ненавидел чисто английскою ненавистью: с ним в его мысли – вернее, в его инстинкте, – соединялось неизбежно понятие о ярме, о лжи и принижении человеческого достоинства, „необходимых последствиях подначалия“. „*Чему бы там ни служить*“, доказывал он, „как бы это ни называть и во имя чего бы это ни делать, а раз *слуга* – ты уже не человек, а *раб*“».

В силу таких своеобразных убеждений, Коверзнев, сдав свой последний экзамен, уехал за границу. На первый раз он пробыл там пять лет, – вернулся, опять уехал... Так прошли многие годы, так жил он и до сих пор. Постоянная перемена мест, новые лица, новые впечатления сделались потребностью его существования. Он то охотился на бизонов в американских саваннах, или ходил облавою на тигров в Индии, то пристращался к морю, плыл на своей яхте из Лондона в

Египет на Мадеру. Изредка, всегда неожиданно, возвращался он в Россию, оставаясь как можно менее в Петербурге, где, он уже знал по опыту, ему, как богатому жениху, в свою очередь предстояла роль зверя, на которого неудержимую облавою. пойдут вся стая великосветских маменек и дочек...

II

Так же неожиданно приехал он и в Темный Кут. Софрон Артемьич Барабаш, управляющий его, родом из малороссийских казаков, но, как выражался он, «получивший свое образование в Москве», где он, действительно, выучившись читать, писать и считать, провел юность свою писцом в состоявшейся, при матери Коверзнева, её московской «главной конторе», был смысленный малый, который каким-то верхним чутьем угадывал «ндрав» барина и «попадал в точку» его вкусов. Он встретил его, будто вчера с ним расстался, без аханья и суеты, ниже малейшего изъявления удивления или радости... Коверзнев был очень этим доволен и – так как он приехал поздно и устал от путешествия, в какой-то скверной таратайке, добытой им на станции ближайшей железной дороги, и в которой пришлось ему проехать 70 верст по отвратительной, размытой осенними дождями дороге – август был на исходе, – тотчас же улегся спать.

Ночью прибыл с чемоданами его камердинер, итальянец, говорящий на всевозможных языках и, первым делом, вынув из ящика ружья Коверзнева, собрал их, прочистил и уставлял, со всем принадлежащим к ним охотничьим прибором, на столах, у стены, в комнате, соседней с спальнею.

Коверзнев, просыпавшийся всегда сам, и к которому никто никогда не смел входить без зова, поднялся на другой

день чуть не с зарею, совершил свои омовение и туалет, прошел в следующую комнату и, почти машинально перебросив через плечо ружье и патронташ, направился через заросший сад в прилегавшую к нему сосновую рощу.

Роща эта была сажена – и не далее как лет сорок назад. Коверзнев помнил еще в детстве её невысокие, тонкие стволы, тесными и стройными рядами тянувшиеся в вышину. Все так же тонки и стройны стояли они и теперь в своей тесноте, лишь на пятисаженной высоте начиная раскидывать кругом темно-иглистые кисти своих суковатых ветвей. Кое-где, между соснами, такая же безупречно прямая, будто в догонку им тянулась молодая береза, – и еще робкие лучи выходящего осеннего солнца весело переливались по их красной и белой коре... Коверзнев остановился, залюбовавшись невольно; «не то пальмовый лес», проносилось в его голове, «не то те тысячи колонн Кордуанского собора, – те же пальмы, перенесенные арабами в архитектуру»...

Он прошел далее, прижмуриваясь и вздрагивая слегка плечами, под здоровым ощущением легкого утреннего холода, и изредка улыбаясь какою-то умильною улыбкою, под наплывом воспоминаний отрочества, которые на каждом шагу вызывали в нем эти места... За рощей начинались его леса, верст на сто в окружности. Там когда-то проводили они целые недели с Фоксом. Во время оно, он знал тут каждое урочище, каждую тропинку и каждый овраг...

«Тут ближе всего на Дерюгино», сказал себе Коверзнев, –

там козы водились *тогда*. И он повернул направо.

В разреженном воздухе утра до него явственно донесся голос:

– Это должно понимать, потому как вы внове...

Коверзнев повернул голову.

В нескольких шагах от дороги, спиной к нему, в серой широкобортной шляпе и синих очках на носу, стоял Софрон Артемьич Барабаш, похлопывая себя по руке парюю перчаток, которую он считал долгом неукоснительно держать при себе «для форсу», но едва-ли когда в жизни вздевал на пальцы...

– Потому как вы внове, повторил он еще отчетливее, как бы смакуя этот чисто русский оборот речи. (Говорить чисто московским говором, вклеивая при этом самым невозможным образом первые попадавшиеся ему на язык иностранные словечки, вычитываемые им в газетах, составляло величайшую претензию Софрона Артемьича.) – Тут-с, можно сказать, мужик коварный; сорвать с хозяина лишнее – это то-есть у него разлюбезнейшее дело. И завсегда его понимать надо. Потому сами знаете, для чего же ему лишнее, а нам убыток? Это ведь уж до тонкости дойдено: двадцать пять корней на сруб – за глаза ему!

Тот, которому читалась эта нотация, стоял перед управляющим, под деревом, с непокрытой головой, жмурясь от солнца, ярко освещавшего его плотную фигуру, щетинистые усы на выбритом, круглом лице, и темные глаза под такими же

круглыми, резко очерченными бровями. Ему было, по-видимому, лет под сорок. Легкая проседь серебрилась в густых волосах, подчесанных по-военному, к височкам. Он был в смазных сапогах, грубой, посконной, но чистой рубахе и крестьянском неказистом кафтане, подпоясанном ремнем. Но на крестьянина он не похож; Коверзнев, еще на-ходу, заметил его мужественную выправку и внимательное, несколько печальное, выражение его глаз, словно прикованных к синим очкам управляющего. В опущенной руке держал он фуражку с военным околышем, – и не солдатскую, а с козырьком.

– Он на это говорит, послышался его голос в ответ наставлению Софрона Артемьича, – он говорит, что ему на *столь* и *мост* не хватит...

Господин Барабаш поднял очки на лоб, бы для того, чтобы удобнее выразить всем лицом своим презрительную улыбку:

– На «столь» и «мост»! повторил он: – это они здесь, по невежеству своему, заместо, как по грамматике *следовало* сказать, *потолок*, значит, и *накат*. Так на это опять вы должны...

Но в эту минуту он, как бы нечаянно обернувшись, очутился – как бы нечаянно опять – на параллели медленно подвигавшегося по дороге барина (зоркий управляющий еще издали, давно заприметил его). Он опустил опять очки на нос и замолк, неторопливо сняв и тотчас же надев на голову шляпу.

– Накройтесь! покровительственно сказал он при этом

своему собеседнику, чуть-чуть кивнув на Коверзнева: – *они* этого не любят! (сам он *это* очень любил).

Тот надел фуражку и, дав на каблуках полуоборота влево, очутился тоже на параллели Коверзнева, с опущенными, пофрунтовому, вниз руками и недвижно обращенным на него взглядом.

Валентин Алексеич приподнял шляпу – и покосился слегка на незнакомое лицо...

– В Дерюгино изволите? промолвил искательно Софрон Артемьевич, не трогаясь впрочем с места.

– Да... Коверзнев приостановился на миг. – Не знаете, не перевелись там еще козы?

Барабаш вышел к нему на дорогу:

– Верно сказать вам не могу-с, потому, как сам к охоте пристрастия не имеючи... А впрочем это сейчас узнать можно-с... Капитан! крикнул он не оборачиваясь.

Зовомый этой кличкою человек, двумя быстрыми, гимнастическими шагами, проскочил расстояние, отделявшее его от разговаривавших.

Софрон Артемьевич повторил ему вопрос барина.

– Не видать-с. По Дерюгину теперь рубка пошла; зверь это робкий, пуглив... В Сотниково, должно полагать, коли и не совсем в казенную пушу, перебрались. За Крусановской межей я, действительно, большего козла...

Он вдруг оборвал, как бы испугавшись своих лишних противу того, что его спрашивали, слов.

– Убили? досказал Коверзнев.

«Как-же бы я осмелился»! прочел он в недоумелом взгляде, полученном им в ответ. – Нет-с, я... ходил – яму отыскивал...

– Еще внове здесь, а очень понятливы на счет границ, поощрительно сказал на это управляющий.

Валентин Алексеич еще раз приподнял шляпу и двинулся с места, приглашая взглядом Барабаша идти за ним.

– Кто это? спросил он, отойдя шагов сорок.

– А это у меня – с Покрова взял, – лесник по Дерюгину и Крусанову.

– Вы его, мне слышалось, «капитаном» называли?

Софрон Артемьич усмехнулся:

– Точно так-с! Он и есть капитан настоящий.

– Что же это значит: «настоящий»? спросил Коверзнев, не совсем поняв.

– В полку, то есть это значит, ротой командовал, в инфантерии-с, Валентин Алексеич, снисходительно объяснил господин Барабаш. «Ничего-то он это настоящего про русское не знает»! говорил он себе презрительно в это время про барина.

– И он к вам простым лесником поступил?... На какое жалованье?

– Пять в месяц-с. Служил он тут в Чепурове, прикащиком у графа Клейнгельма. Отошел. Так я его по началу на испытание взял-с...

– А на прежнем месте сколько он получал?

– Говорят, двадцать пять. И так, верно должно быть, потому не лжет никогда человек.

– Странно! сказал Коверзнев.

Софрон Артемьич кашлянул – для чего предварительно прикрыл себе рот рукою, – передернул очки свои и уже с некоторою таинственностью:

– Грешок за ним некоторый есть, прошептал он.

– Какой грешок?

– На счет *того-с*, меланхолически вздохнул Софрон Артемьич и легонько щелкнул пальцем по отложному воротничку своей по моде сшитой сорочки.

– А!..

Настало некоторое молчание. Коверзнев шел теперь бодрым, широким шагом человека, выходявшего пешком чуть не весь *дальний Воеток* Америки. Изнеженный правитель Темного Кута едва поспевал за ним.

– Человек с правилом, Валентин Алексеич, заговорил он опять, как бы извиняясь, – и в Чепурове репутацию себе настоящую заслужил, потому, окромя этой слабости, ни в какой *марали* не замечен; чист человек, честнеющий. А в полку даже очень о нем жалеют-с, потому их полк стоял тут в Стародубе и многие даже у меня офицеры очень знакомые, – первый он, поверители, нет-ли, у них по полку считался; на счет тоись фрунта и поведения твердый, даже отвращение к вину имел... И, может, даже теперь сам бы полком командо-

вал, – только случилась тут у него одна *манифестация*...

– Что такое?

Софрон Артемьич самодовольно улыбался.

– Большая неприятность у него вышла, объяснил он.

– Да-а!.. Так в чем же состояла эта неприятность?

– Жена у него была, молодая, из полек-с – и за этим словом господин Барабаш целомудренно опустил очи, – и, по истине сказать, – самая нестоющая женщина!.. Только он к ней слишком уже большую страсть питал, даже, можно сказать, очень глупо с его стороны. Потому она наконец и вовсе покинула его, скрылась... Искал он ее, ездил, из полка вышел из-за этого самого, – нет, так и пропала, потому, говорят, пан один из Витебской губернии за границу ее с собой увез... Тут он с горя и...

– Как водится, по-русски! процедил сквозь зубы Коверзнев, глядя прищуренными глазами вдаль.

– А так точно-с! подтвердил управляющий: – все с себя до чиста спустил; теперь в мужицком кафтанишке ходит, изволили видеть.

– Вы им довольны? после нового молчания спросил Валентин Алексеич.

– Что дальше Бог даст, а теперича кроме хорошего, ничего дурного не могу сказать. Лесник настоящий, солидный. Теперь к нему в лес ни одна душа с топором не въедет, – потому у него по-военному, *дисциплина*...

– Ну, а «слабость» – же его как?

– По всей истине доложу вам, я как на это строг, и он, как и прочие служащие, это знает, только я, в бытность его у меня здесь, раз всего заметил: постом дело было. Забился он в свою сторожку и три дня не выходил...

Они тем временем доходили до Дерюгина; ласково помахивали вершинами его старые дубы под резвым утренним ветром. Коверзнев остановился еще раз:

– Так вот что: скажите этому вашему капитану, чтоб он взял с собой Дениса... Что, жив он еще?

– Денис, егерь! Помилуйте-с, в здравии пребывает! Из чего у нас людям умирать! даже позволил себе хихикнуть по этому случаю «солидный» г-н Барабаш.

– Так чтобы они вместе отправились на Ситниково и, от Мижучева до Крусановской межи, выследили с точностью, не перебрались-ли и действительно козы в казенную пуцу. Досадно было бы! Если-жь нет, я на днях соберусь на них... Народу в таком случае довольно чтобы было, *кликунов*...

– Слушаю-с. Не прикажете-ли... Хотел было еще спросить управляющий...

Но барин уже исчез в чаще леса.

III

Коверзнев явился домой уже в вечеру, с ягташем полным дичи и прорванною в чаше курткой. Он прошагал в этот день верст тридцать, не чувствуя ни усталости, ни голода, или, вернее, пересиливая в себе то и другое и, как всегда, самоуслаждаясь этою «победою воли над физическою природой». Он пообедал дома, при свечах, выпил полбутылку портвейна и тотчас вслед за обедом занялся разбором одного из нескольких толстых портфелей, привезенных им в Темный Кут. Слово *India* выгравировано было на медной доске над замком этого портфеля; в нем заключались всякие бумаги, относившиеся во времени пребывания Боверзнева в этой стране, и дневник, веденный им там в продолжение двух лет этого пребывания. Ему давно хотелось пересмотреть свои эти записки и привести в порядок, с целью издать их на французском, или скорее еще на английском языке, на котором, главным образом, и ведены были они. «Порусски кто их читать станет!» рассудил он давно... С этою целью он собственно и приехал в Темный Кут, где полнейшее уединение и тишина обеспечены были ему «вернее, чем в каких-нибудь развалинах Мемфиса»...

Этот труд так занял его, что он ни на другой, ни в последующие дни не ходил на охоту, а писал весь день в комнате, с закрытыми с утра ставнями, – он никогда иначе не прини-

мался за перо, при свете двух спермацетовых свечей под темным абажуром. Привычки его были известны и, кроме слуги его итальянца, – готовившего ему и обедать, и как-то изловчавшегося подавать этот обед горячим в какие бы необычные часы ни потребовал его Коверзнев, – ни единая душа в Темном Куте и не пыталась проникнуть в нему.

На четвертый день он проснулся с несколько тяжелой головой, отворил свои ставни и окна... Утро стояло великолепное и по лазуревому небу ходили облака, игра которых ни в какой стране мира не казалась почему-то Валентину Алексеичу такую красивою и разнообразною, как в родной стороне.

Он оперся локтями на подоконник и стал глядеть...

Облака подымались как горы, одна другой выше, с снеговыми вершинами и светлыми озерами, омывающими их темные подножья; зубчатая башня висела над пропастью, дракон с чешуйчатым хребтом тянулся, расевая все шире и шире бездонную пасть...

– А там будто какое-то стадо готовится свергнуться вниз, говорил сам себе Коверзнев, невольно улыбаясь...

Фантастическое стадо напомнило ему коз, на которых собирался он охотиться в Сотникове. Он отошел от окна, позвонил и вышедшему на звон итальянцу приказал позвать Барабаша.

Господин Барабаш вошел с заметно возбужденным выражением в поступи и лице. Очки его были подняты на лоб, что для подчиненных его всегда служило признаком ближайшей

распеканции.

Коверзнев, при виде этих поднятых очков, почувал, в свою очередь, что управляющего его постигла, должно быть, какая-нибудь неожиданная «манифестация»...

Дело с первых слов объяснилось.

Приказания Валентина Алексеича не могли быть исполнены до сих пор. Денис, егерь, зашиб себе ногу и встать не может, – а капитан лежит третий день в лесу, в своей сторожке, «не в своем виде», и «волком воет». Софрон Артемьич послал к нему сначала своего конторщика, а затем собственной особой отправился на увещание его, но встречен был сам такими ругательствами, что, «как Валентину Алексеичу угодно, а он даже без всякой *иллюзии* не в силах этого вытерпеть».

– И какой он себе ни будь капитан, говорил уже с азартом оскорбленный управляющий, – а как я его, могу сказать, из грязи вытащил, потому человек до того опустил себя, что даже угла себе не имел, под заборами валялся, так, что даже его в себе на квартиру никто пущать не хотел, когда из Чепурова выгнали его за самое за это...

Потоком лились теперь все эти пункты обвинения из разгневанных уст Софрона Артемьича, совершенно позабывшего, как три дня назад рекомендовал он барину капитана «человеком с правилом».

Коверзнев слушал его молча и внимательно.

– Вы его взяли, вы вольны его и отпустить, если он оказы-

вается негодяем, сказал он, – но вы мне, кажется, говорили, что он «солидный», усердный и совершенно «чистый» человек?

– Это точно, согласился сконфуженный Софрон Артемьич, – а только как вам угодно...

– И говорили еще, не дал ему продолжать Валентин Алексеич, – что с тех пор, как он в вас поступил, вы его в слабости заметили всего один раз?

– Раз, постом, справедливо-с... так ведь тогда он смирен лежал, поспешил возразить управляющий, замечая по тону барина, что он как бы стоит на стороне его обидчика, – а теперича он, как зверь какой, даже без всякой *линии*, можно сказать... Мне что-же-с, примолвил Барабаш, – в нашей должности, известно, каждый час должен ждать себе неприятностей, особенно когда в тебе совесть... А только собственно что я, как преданный слуга вам и с измальства еще маменьке вашей служил, что они благодетельницей мне, можно сказать, были, – так, как вам угодно, Валентин Алексеич, а таких слов про вас, как моего доверителя, никогда терпеть не могу-с!..

Валентин Алексеич улыбался, – все яснее ему припоминалась в эту минуту мужественная фигура капитана, без шапки, жмурящегося от солнца перед этим «преданным слугою» в синих очках...

– Оказывается, что и мне при сей оказии досталось? сказал он. – За что же?

Невозмутимость барина глубоко огорчила Софрона Артемьича:

– Как вам будет угодно, Валентин Алексеич, заговорил он с новым раздражением, – а только, когда я ему на беспардонные его, можно сказать, слова говорю, по своей должности, что я не по своей воле, а барское приказание исполняю, чтобы он тотчас-же в Сотниково шел насчет коз, так он даже позволил себе такое *неглижа*, что «я мол на твоего барина пле...вать хочу», договорил, уже словно давясь от мерзости этих слов, управляющий.

– Да, это неглижа, действительно, очень откровенное! проговорил на этот раз Коверзнев таким серьезным тоном, что чуткий Софрон Артемьич поймался на него – и просиял душою.

– У меня свидетели есть, Валентин Алексеич: как со мною был Спиридон Иваныч и Асинклит, сторож, так завсегда можно его к мировому представить, поспешно проговорил он.

Но, весьма неожиданно для него, Валентин Алексеич на предложение это отвечал ему следующим вопросом:

– Не известно-ли вам, по какому случаю вздумалось так, вдруг, вашему капитану напиться, и один он при этом пил, или с кем-нибудь?...

Из сообщенного затем Софроном Артемьичем оказалось, что он тогда же, получив приказ барина «насчет коз», передал его капитану, и тот с места тронулся было идти в Бру-

саново. Но управляющий пригласил его зайти с ним предварительно в контору «забрать» Дениса – и письмо, полученное накануне в Трубчевске, на почте, на его, капитана, имя. Так они тут вдвоем и пришли в усадьбу. Денис был на селе, где он новую избу себе ставит. Софрон Артемьич послал за ним, а капитан получил письмо свое и с ним сейчас и ушел. Посланный в Денису вернулся часа через три, с известием, что старику пришибло бревном колено и что он двинуться не может. Тогда Софрон Артемьич послал конторщика верхом в Дерюгино найти капитана и сказать ему, чтобы он Дениса не ждал. Конторщик проезжал мимо его сторожки, услышал, что кто-то «рычит», – слез и вошел; глядит: – сидит на земле капитан, пустой пред ним штоф, а сам он, «обеими руками за голову взявшись, ревмя ревет.» Конторщик даже испугался и поскавал назад донести управляющему, – после чего тот и отправился туда сам и «должен был выслушать те слова, опосля которых он, не желая дать замарать свою честь, как угодно Валентину Алексеичу, а будет требовать, для впримера прочим, чтобы того *мерзавца* судья непременно засадил...»

Коверзнев все время слушал, обернувшись лицом в окно и глядя на облака, на синие просветы неба, сиявшего сквозь их капризно-менявшиеся очертания...

– Вот что, сказал он, когда тот кончил, – позовите вы его во мне!

– Кого это-с? озадаченно спросил управляющий.

– Капитана.

– Помилуйте, Валентин Алексеич, да он по сию пору не в своем виде, – как это учитель у вас француз, когда вы маленькие были, мусье Ляфиш, говорил: – *кошон-кошоном* в грязи лежит-с и по сей час в своей сторожке.

– Ну, так когда он «в свой вид» придет.

– Слушаю-с! по некотором молчании выговорил Софрон Артемьич, заключив из выражения лица барина, что он не допустит возражений.

IV

На другой день утром, Коверзнев просматривал у себя конторские книги, когда его итальянец, которому предварительно отдано было им на это приказание, вошел с докладом, что «l'uomo detto» (означенный человек) ждет в передней.

– Просите его сюда.

Дверь отворилась на половину и, в образовавшееся узкое отверстие, бочком проскользнуло плотное туловище капитана – и тут-же остановилось у этой, поспешно замкнутой за собою, двери.

Коверзнев поднял глаза. Капитан отвесил ему почтительный поклон.

Он глядел на него спокойно и прямо, – все с тем-же, очевидно, привычным ему, печальным выражением лица, которое заметил Валентин Алексеич при первой встрече с ним. Только лицо это теперь как бы поопухло, и глаза были мутны. Но он, видимо, приложил все старание привести себя в должный порядок: приглаженные в вискам волосы еще лоснились от обливавшей их воды, веник заметно тщательно прошел по его бедной, очень бедной, но акуратно закутанной крестьянской одежде; огромные, мускулистые руки, будто бы два красно-сизые пятна, скрещавшиеся над фуражкой, которую держал он перед собою, – были чисто вымыты...

– Садитесь! отвечая на его поклон, сказал Коверзнев. Тот,

как бы бессознательно, качнулся вперед, – но не двинулся далее.

– Садитесь, прошу вас, повторил Валентин Алексеич мягким, но настойчивым голосом, указывая рукою на стул, у противоположной его собственному креслу стороны старинного письменного стола, с изящною бронзовою отделкой, за которым занимался он.

Капитан так неслышно подошел к указываемому месту, что Коверзнев невольно обратил на это внимание:

– На нем сапоги есть, и он их даже только-что дегтем смазал, подумал он, – но подошвы под ними сомнительны!.. И его охватило вдруг бесконечное чувство жалости к этому человеку, так глубоко «опустившему себя», как выражался господин Барабаш.

Он неотступно следил за ним взглядом, пока наконец капитан не решился сесть на кончик указанного ему стула.

Но, когда он сел, с опущенными глазами и судорожно комкая фуражку в своих огромных ручищах, Коверзневу на миг самому сделалось неприятно: – «я будто судить его собираюсь», пронеслось у него в мысли...

Он стал шумно перелистывать широкие листы лежавшей перед ним расчетной тетради.

– У вас неприятности вышли с управляющим? сказал он, пересилив себя.

– Виноват! отвечено было на это так тихо, что он переспросил.

– Виноват-с! повторил капитан.

– Не были-ли вы вызваны на... на эту ссору какими-нибудь словами Барабаша, которые вы почли для себя обидными? как бы поспешил Коверзнев сосудить его доводом к своему оправданию.

Плечи капитана дрогнули. Понятое им намерение, а – главное – тон, так давно не слышанный им, добрый участливый тон этих слов...

– Я и не помню даже, что говорили *они* мне, ответил он со странную улыбкою: «какое уж мне оправдание!» будто говорила эта улыбка.

В поникших глазах его пробежала искра, как бы от нахлынувшего на него нового, едкого, нестерпимого чувства...

– Я несчастный человек, Валентин Алексеич! нежданно проговорил он, внезапным движением подымая их на Коверзнева.

У того глаза заморгали, как он ни привык владеть собою.

– Виноват, позвольте спросить: как вас зовут? промолвил он, очень упрекая себя в эту минуту, что не спросил этого ранее, у Барабаша.

– Отставной капитан Переслегин.

– Имя и отчество?

– Иван Николаев...

– Благодарю вас!.. Вы мне позволите быть откровенным с вами, Иван Николаич?

Капитан еще раз взглянул на него: – «никакая твоя откоро-

венность не будет так жестока, как то, что сам я говорю», прочел Коверзнев в этом взгляде.

Он продолжал:

– К этому «несчастью», я слышал, привели вас семейные обстоятельства, – о которых я не желаю, не имею права спрашивать, поспешно примолвил он в этому...

Переслегин, с каким-то надрывающим, судорожным движением губ, ерзнул на своем стуле...

– Но вы, по-видимому, не употребили всех сил, чтобы бороться с ним, говорил Валентин Алексеевич; от душевных страданий лечит усиленная работа, дело, простой, иногда физический труд. Дело у вас всегда под руками. Вы наконец были в полку, командовали ротой, судьба других людей зависела от вас...

– Не в силах был, точно-с! слышались в ответ будто замиравшие в горле слова капитана, – стыда своего перенести не мог!.. И забыть... не в состоянии... и по сей час! болезненно вырвались эти, запекавшиеся как бы у него там, слова...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.